

Гоголь и способы проездиться по России

Если в Гоголе всегда звучит что-то не им придуманное, но истинно-общерусское, то прежде всего подтверждают это его собственные слова, обращённые к родине. **О Русь, вижу тебя из своего далека** — тоже сквозная русская нота. Вопреки хронологии, гоголевское прозвучало у нас ещё до Гоголя, и это было предчувствием, что Гоголь будет.

О русская земля, ты уже за холмом — чем не гоголевское восклицание. Оно о молодом дерзновении где-то за родными холмами поискать удачи (захватим славу и поделим её), оно об очаровании русского Киева-Путивля и о бесшабашном расставании с тем, что тебя видит, по тебе печалует, и тебя ждёт домой; оно о необходимости вернуться. Оно русскую малость — когда за каким-нибудь Донцом и вправду уже нет родины, — очевидную в сравнении с теми просторами, которые были даны от рождения Гоголю, ещё не переживает как утрату и беду. Это голос страны растущей.

Гоголь — не чета другим — не мог помыслить: ты осталась за холмами, потому что я оставил тебя навсегда — и оставайся там как-нибудь без меня, в своей необъятной несуразности, даже хоть уничтожайся, уменьшайся и погибай (а его-то ровесник, а беглец Печерин как раз так и думал). Не мог помыслить этого Гоголь, не будем домысливать и мы. Мы, допустим, могли услышать и брошенное в сердцах "прощай, невытое царство рабов и господ" от самого Лермонтова, к конвульсиям печеринской злобы никак не причастного. Но не каждое же лыко в строку; так ведь и Пушкина можно изобразить ненавистником родины (если вычитать иное горькое словцо из письма или дневника и изобразить, что здесь ум и талант осознал-таки всю пагубу досадной свой русскости).

И уж Гоголь-то — а мы о нём — тут всячески чист. И повторим: его возгласы о Руси, видимой издалека, звучат в согласии с самым что ни на есть

истоком нашей словесной художественности, с Россией времён Святослава и Ярославны, Игоря и Всеволода. Менялись причины, чтобы оставить Русь за холмом, от бесшабашных капризов и незрелостей юношеского буйства или даже юношески удельного патриотизма, от самовольных отречений отнюдь не дюжинного бойца Курбского до насекомоподобного отложенчества того же Печерина, до всяких иных порывов к более высокой, чем родина, истине Запада или Востока (известно по всем нашим католицистам, по нашим же байронистам). Гоголевский же мотив чист всё тысячелетие — если принять, что Гоголь не придумывал и создавал, а воссоздавал и подкреплял чувства, завещанные русскому издавна: издалека, но любовно, родственно и сыновне тебя вижу, по тебе грущу и навсегда тобою очарован, к тебе влекусь со своими вопросами.

Сама поэзия проезжанья по далям и закоулкам волшебной родины — она у него как раз и создана где-то "за шеломянем", если вспомнить, как и где продумывались и писались чудесные страницы «Мёртвых душ». В круге задач, намечаемых Гоголем, это самая суть дела: «чего же ты хочешь от меня?» — а вот как раз этого.

Кому же досталось там проездиться? Гоголю или всего лишь его персонажу Чичикову? В любом случае, очарованность странника несомненна, и гоголевский совет **проездиться** благодаря этой поэзии воспринимается как безусловный завет — звучи он хоть в исповеди, хоть в прямой проповеди.

Если же задуматься, кто этот завет воспринял, при полном внимании ко всему тысячелетию Руси и к гоголевскому внушению; если задуматься, кто негромогласно-скромно, нежно и чутко откликнулся завещанному и подтвердил неотменимость пушкинско-гоголевско-лермонтовских размышлений над русским миром — то нет свидетельства этой связи неожиданнее и убедительнее, чем скачущий по холмам дремлющей отчизны

отрок Николай Рубцов.

Или отрок Николая Рубцова? Сказать опять трудно, или же и вовсе неважно это назойливо устанавливать. Но спето — Рубцовым; и не выкидывая оттуда ни слова, важно привести рубцовское свидетельство целиком.

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!

И быстро, как ласточки, мчался я в майском костюме
На звуки гармошки, на пенье и смех на лужке,
А мимо неслись в торопливом немолкнувшем шуме
Весенние воды, и бревна неслись по реке...

Россия! Как грустно! Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звездная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, —
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!...

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля — останься мое божество!

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!...

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

И только, страдая, израненный бывший десантник
Рассказывает в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Эти стихи 1963 года мы и назвали бы гоголевским по духу "проездиться", которое у нас состоялось в едва ли предполагавшееся самим Гоголем время.

Каждая строка в "Я буду скакать..." напоминает о классически-давнем. Здесь слышится и "Брожу ли я вдоль улиц шумных", и "Долго ль мне гулять на свете", и слова о России клеветниках и защитниках, и "просёлочным путём люблю скакать в телеге", и "Выхожу один я на дорогу", и "Что ты жадно глядишь на дорогу" (ведь любит тебя не только проезжий корнет), и "Выхожу я в путь, открытый взорам", и даже "по родной стране пройду стороной". Можно, конечно, вспомнить и о туристическом киданьи камешков с берегов пролива Лаперуза, и о душных дачных электричках Бориса Леонидовича Пастернака, и о рейдах поэтов-эстрадников в "родную Сибирь", на "станцию Зима" и т.п. Говоря же в общем, это не география страны, **ровнем-гладнем раздавшейся на полсвета**; это её прочувствованная душою-сердцем сущность и её, сущности, судьба.

И быстро, как ласточки, мчался я в майском костюме... Прежде всего оживает в воспоминании, возможно, и не юный Гоголь где-нибудь в Сорочинцах; но если мы вспомним радости Пушкина — в народно-праздничном наряде на вокресном гуляньи-ярмарке, с полной уже готовностью к "сват Иван, как пить мы станем" — то все равно не только Пушкин, но и Гоголь вблизи. А желание Пушкина и жить, и почитать вблизи милого предела? А игра молодой жизни вокруг — которой так повезло с зарождением на сельских просторах? И спросить, отчего же грусть, то сам Рубцов сказал бы, что она тоже впитана из Пушкина и из Гоголя. Ибо откуда пустеющие — да нет, уже

почти пустые небеса над почти совсем обезумевшей родиной, не только над отдельной не дай Бог, но сошедшей-таки с ума и счастливой от этого личностью. (Вы уже знаете и потому сразу же вспомните отроков и отроковиц, которые радостно бегут за комсомолом оттого, что колокольня без креста. Но вспомните ещё "Не дай мне Бог...", вспомните безбожное помешательство Чарткова; помножьте на размах помрачения.)

Добавьте сюда пушкинскую заботу по поводу, не приведи Господь, иссыхания, измельчания и иссякания русского моря, что неизбежно при подавлении подземных родников-истоков не меньше, чем при удушении высоко духовного. Не пушкинская ли она у Рубцова, скорбь по поводу триумфов самоуверенного и опять же иссушающего всепонимания? (Какие там загадки, если физика-химия, с их опытом, разъясняют и отменяют навсегда "разные там чудеса".) Не оттуда ли покой и воля, возмещающие утрату или недобор или, наконец, недостижимость счастья; как не лечить этого целебным воздухом — хотя бы и печали, но вместе с родимой стороной? И откуда рубцовский старый инвалид, оставленный кем-то на одинокой постеле? Известно, что он наверняка помнит свой измайльский штык — но может ли, сможет ли он же его привинтить и будет ли при этом нужен, **вот вопрос**. А ведь

всадник, вольностью венчанный,
исчезнувший, как тень зари —

этот ангел над Россией, он оказался у Рубцова виден только ему, одному ему — измученному герою то ли наших сопок Манчжурии, то ли нашего Бреста или нашего Киева-Севастополя.

Изобилие пушкинских мелодий у Рубцова может в пределах разговора о Гоголе показаться избыточным; вроде французского "embarras de richesse", оно не говорит ли о замешательстве? Где Гоголь и где, наконец, рубцовская самобытность?

На это можно ответить, про самобытность, конечно, не забывая. Вне сомнений: русский труд и русский праздник сообща Рубцов воспел не как предмет проезжего восхищения и просмотра со стороны каким-нибудь "вечером росистым" (берём оборот из "Родины" у Лермонтова); и в этом полноценная самостоятельность его слова — слова, конечно, совершенно советского времени. Возьмите хоть пляшущего "председателя"; он так не был воспет никем, да XIX веку он и совсем неведом. Поэту невиданного времени для приобщения к празднеству не нужен первоначально и никакой костюм английский и легко отвергаемая, как и этот костюм, лайковая перчатка. Народ, не знавший изящных "кепи", на глазах у Рубцова и у всего мира, когда тот посторанивался, — собрал и занова создал огромную страну; влил в её землю если не живую воду, то свою кровь. И уж сама-то по себе такая Россия вполне проездилась — как Рубцов от Прибалтики и Поморья до Ташкента — без подорожных-командировочных, без спонсоров-меценатов, без доходов со старосветского поместья, без видов по пути как-нибудь ещё обогатиться и уж всяко без высоких столичных гонораров.

Предполагал ли именно такую Россию увидеть когда-нибудь, и мог ли её даже помыслить Гоголь, неусыпный в заботах о ней и о её неподложном обустройстве? Да даже вместе с Пушкиным не могли они прорицать загодя или угадать, в будущем, подлинной православности наших 1941-1945 годов, как и не чаяли бы восстановления патриаршества в стране без царской короны и в стране колоколен без креста. Шедший после них толстовский Левин лишь **позволял себе** какое-нибудь присоединение, на время, к какому-нибудь общему усилию в поте лица и радость по поводу его успеха. Классика не гадала о целом ряде невиданных и неслыханных мятежей и перемен. Однако что Россия, что милый предел тянет к себе и тогда, когда он за шеломянем, что Россия и украсно-украшена, и что она — о, **как она грустна, наша Россия**, — это прошедший сквозь Гоголя и при его поддержке и пособлении общерусский напев. И если изрядно проездившийся по родине и охвативший её заботливо-

восхищенным взглядом отрок помнит, знает и пишет о родине то же самое, то это пусть и тревога за иссушение моря, но в пределах задач родника это безусловно выполненная работа по обустройству, к разметке которого причастен и Гоголь.

Отчизна и воля! Останься, моё божество! И если вся эта красота-благодать говорит докучливой, кичливой и злобно-насмешливой молодежи **оставьте меня, зачем вы меня топчете, язвите, проклинаете и попираете; оставьте меня как я есть, без ваших безумных переустройств**, то, значит, и в предельно самобытном Рубцове находит отклик именно гоголевское слово.

Мы русские, какой восторг; так восклицал герой Измаила. Россия: как загадочно-прекрасно и как грустно. Все предчувствия и все упования пушкинско-гоголевского патриотического лиризма оказываются удержаны поздней советской поэзией — с косою за плечом или с гармошкой в руках, с чёрствой краюхой хлеба в заплечном сидоре-рюкзачке и при дорожных-походных, возможно даже и дырявых кирзовых прохорях.

Меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то подумал, поэтому и повторим: мол,

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны—

всё это, по серьёзном размышлении, написал не бесподобный Рубцов, а древнерусский какой-нибудь Баян, летописный плакальщик гибели земли русской, а также Пушкин с Гоголем и Лермонтовым. Нет, **это было при нас**; именно при нас и состоялась, и пригодилась поэзия русских прохуdivшихся прохорей — времени после сорок пятого года. А если ей пригодился и Гоголь, дело преемственности не проиграно.

Я буду скакать... — это не вожделения и не мечтаемые приключения проезжего корнета, Хлестакова или графа Нулина, это не каникулярные

прогулки арбатского студенчества ("по всей земле пройти мне в кедах хочется"); это не подглядыванье, с одобреньем, за русским населением-простонародьем — скажем, из окна пригородной электрички или из уютной и на всякий случай плотно запертой московской квартиры.

Вам покажется, мы фантазируем? Да нет, это тоже было при нас, и даже было нобелевски вознесено.

Душно-комнатно, кропотливо-натужно, не талантливо; как Блок в свое время заключал о Пастернаке-переводчике, так он и позже заметил бы то же самое: насчёт живаговской "Свадьбы", насчёт "На ранних поездах". (Помните, у Борис Леонидовича?) О, Рубцов — это и не наблюдение над "пляской с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков"; и, таким образом не прозябанье поэзии следующего за Гоголем века на давно освоенном и освященном месте. Это полное родство всех внутри народной стихии. Это жизнь совершенно вместе с нею, а не как-то со стороны и в опасеньи, что если выйти к людям не посмотреть и полюбоваться-одобрить, а прямо сплясать — то "вдруг, чего доброго, возьмут и поколотят": ибо взглянут на тебя, в разрез с Гоголем, не по духу, а по крови.

И по сердцу эти картины, ближе они к гоголевскому "как нам обустроить Россию", чем пародия на "Выбранные места", разбрасываемая по полустанкам для чтения доверчивым, обалдело восхищённым согражданам.

Не это ли делалось однажды из тамбура праздничного поезда Владивосток-Москва? Не так ли было по возвращении патриота-разрушителя на родину и на покой из далекого Вермонта? Не так ли, как мы только что описали эти торжества, смотрел на упорядочивание что российских, что всемирных дел их созерцатель в «Записках из подполья» Ф.М.Достоевского:

Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я их всех прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не

просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много «прекрасного и высокого», чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем.

Русь двадцатого века, проскакавшая по своим просторам на розовом коне, при всей заштатности и незаможности своего облика умела отозваться на самое задушевное в музыке Гоголя.

Мы вольные птицы. И летучая птица-тройка удовлетворила бы классику и в своём самом будничном облачении; Пушкин запомнился Гоголю словом **как грустна наша Россия** не по причине нашей задрипанности.

Эта Русь не только сама себя проездила. Она, если вчитаться в Рубцова, сама себя боялась утратить; чуяла, что израненный старый десантник Калуги-Костромы уже не мог её защитить и сохранить. Она и сейчас, как во времена и Гоголя, **не даёт ответа.**

Однако это, как мы хорошо понимаем, не по безгласности или по косноязычию её. Николай Рубцов есть тончайшая и полнозвучнейшая русская поэзия новейшего времени — вполне верная, как мы имели возможность убедиться, пушкинско-гоголевско-лермонтовскому образцу. "Просёлочным путём любя скакать в телеге", она удерживала всю ту высоту и точность обозрения, которую задала нам классика.

Так почему же, всё-таки, **не даёт ответа? Ни зашелохнет, ни прогремит. Никто не услышит, никто не окликнет мелькнувшую тень...**

Дело в том, что и все по-настоящему серьёзные вопросы — **неразрешимы.** Только их и надо ставить перед собою. Ответа нет, но именно и только его надо искать. Русская филология есть дело неразрешимых, однако честно поставленных вопросов; разрешимые же сплошь и рядом суетны и подложны.

Неразрешимость серьёзного даже нарастает. Ведь древнее, не без боли,

восклицание **ты уже за холмом** сегодня касается России именно с огромно трагическим нарастанием угрозы.

Так или иначе, а предложенный Рубцовым путевой лист, рубцовский гимн и реквием утрачиваемой России источает музыку гоголевского склада.